



Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 320–329

Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 320–329

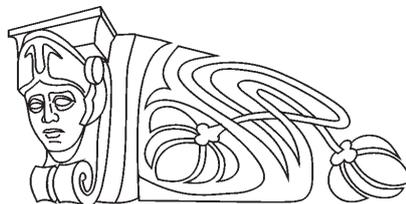
<https://bonjour.sgu.ru>

<https://doi.org/10.18500/1817-7115-2022-22-3-320-329>

Научная статья

УДК 821.161.1.09-2-311.6+929[Пестель+Зорин+Окуджавы]

Пестель vs. Пестель: трагедия Л. Зорина «Декабристы» и роман Б. Окуджавы «Бедный Авросимов»



М. А. Александрова

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31А

Александрова Мария Александровна, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник НИЛ «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной идентификации», nam-s-toboi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

Аннотация. В статье предпринят сопоставительный анализ двух интерпретаций личности и судьбы Пестеля в литературе поздней «оттепели». Показан вклад писателей-ровесников в освобождение культурно-исторической памяти от официального диктата, обозначена основа их мировоззренческой близости: это осознание «роковой проблемы нравственности и революции» (Зорин). Автор трагедии «Декабристы» (1966) и автор романа «Бедный Авросимов» (опубликован в 1969-м) работали с одними и теми же документами по истории декабризма, однако каждый установил для себя иерархию источников. Отсюда, как показано в статье, различие творческих стратегий и замечательных (в том и другом случае) художественных результатов. Зорин, удививший современников смелостью подхода к привычной теме, в целом остался верен духу декабристского мифа. Для драматурга первостепенное значение имело мемуарное свидетельство священника Мысловского («Ничто не колебало твёрдости его»); поэтому зоринский герой даже накануне казни представлен борцом, устремлённым в будущее. С иной стороны открывается «главный декабрист» Окуджаве: в основу концепции романа положены факты, которые «от первого лица» опровергают мифологизированную репутацию Пестеля. Это позволяет современному писателю увидеть в давней политической трагедии её вечную – экзистенциальную – природу. Стимулирующий контекст творческого поиска Окуджавы образуют не только исторические документы, но и впечатления от «Декабристов» (пьесы и спектакля на сцене театра «Современник»); в статье прослежены основные аспекты полемического диалога романиста с драматургом. Если пьеса Зорина талантливо актуализирует декабристскую мифологию и персональный миф Пестеля, то в романе Окуджавы миф оторефлексируется и преодолен.

Ключевые слова: Л. Зорин, Б. Окуджавы, декабристы, миф, канон, Павел Пестель

Для цитирования: Александрова М. А. Пестель vs. Пестель: трагедия Л. Зорина «Декабристы» и роман Б. Окуджавы «Бедный Авросимов» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 320–329. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2022-22-3-320-329>

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

Pestel vs. Pestel: L. Zorin's tragedy *The Decembrists* and B. Okudzhava's novel *Poor Avrosimov*

М. А. Aleksandrova

Linguistic University of Nizhny Novgorod, 31A Minina St., Nizhny Novgorod 603155, Russia

Maria A. Aleksandrova, nam-s-toboi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

Abstract. This paper undertakes a comparative analysis of two interpretations of Pavel Pestel's personality and fate in the literature of the late Khrushchev thaw. The contribution of the peer writers to the liberation of cultural and historical memory from official dictatorship is discussed, the basis of their ideological similarity is shown: this is the awareness of the fatal problem of morality and revolution (Zorin). The author of the tragedy *The Decembrists* (1966) and the author of the novel *Poor Avrosimov* (published in 1969) worked with the same documents on the history of Decembrism, but each of them established his own hierarchy of sources. The article shows the difference between creative strategies and remarkable artistic results of both authors. Zorin, who surprised his contemporaries with his bold approach to a familiar topic, on the whole remained true to the spirit of the Decembrist myth. For the playwright, the memoir testimony of the priest Myslovsky ("Nothing shook his firmness") was of paramount importance; therefore, even on the eve of his execution, Zorin's hero is presented as a forward-looking fighter. The chief Decembrist in Okudzhava's work is different: the concept of the novel is based on the facts that "in the first person" overturn the mythologized reputation of Pestel. This allows the modern writer to see the eternal – existential – nature in the old political tragedy. The context of Okudzhava's creative search is formed not only by historical documents, but also by impressions from the *Decembrists* (a play and performance on the stage of the



Sovremennik Theatre); the article underlines the main aspects of the polemical dialogue between the novelist and the playwright. While Zorin's play skillfully updates the Decembrist mythology and Pestel's personal myth, the myth in Okudzhava's novel is reflected and hence overcome.

Key words: L. Zorin, B. Okudzhava, Decembrists, myth, canon, Pavel Pestel

For citation: Aleksandrova M. A. Pestel vs. Pestel: L. Zorin's tragedy *The Decembrists* and B. Okudzhava's novel *Poor Avrosimov*. *Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 320–329 (in Russian). <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2022-22-3-320-329>

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Творческое самоопределение в контексте декабристского мифа: разные пути

Личность Пестеля привлекла внимание Леонида Зорина и Булата Окуджавы на излёте «оттепели», в «эпоху расцвета литературно-исторической аналогии», когда «острые вопросы современности решались и в открытом диспуте, и в исторических декорациях» [1, с. 164–165], а прошлое открывалось подчас с неожиданной стороны. Официальная идеология давно «канонизировала ответы» [2, с. 231], создав культ наиболее радикальных деятелей дооктябрьского периода; образцовым считался роман О. Форш «Первенцы свободы» (1950–1953), где «Пестель показан как внутренний двигатель, как мозг движения»: «Он единственный из всех не только самозабвенно предан революции, но и знает необходимую последовательность действий, имеет и план восстания, и программу деятельности после него» [3, с. 176]. Хотя А. В. Тамарченко в книге об О. Форш (1966) осторожно замечала, что «выводы историков» сковывали беллетристов 1940–1950-х гг. [4, с. 334], литературная критика ещё долго хвалила «Первенцев свободы» за правильность общей идеи, обеспеченную всесторонней «документированностью» романа [3, с. 176]. Авторы, подвергнутые всем видам «формовки советского писателя» (Е. Добренко), не могли обходиться без посредников, транслировавших «единственно верное» понимание источника: слишком высока была цена идеологической ошибки. «Шестидесятники» увидели в «первичном», подлинном историческом материале альтернативу доктрине – и стимул для творческого воображения; отсюда эпиграф к «Декабристам» Зорина, сочинённый автором раньше самой пьесы: «Здесь вымысел документален // И фантастичен документ» [2, с. 231] (курсив в цитатах везде мой. – М. А.).

Обращение к документам раскрепощало историческую рефлексию, что само по себе ещё не предполагало ревизии декабристского мифа. Во-первых, существовал запрос на очищение его «старшей» версии, возникшей по живому следу событий, от советских напластований. Во-вторых, новая сложность, объёмность исторической картины отвечала стремлению «шестидесятников» устанавливать связь с прошлым на личностном уровне. Документы декабристской

эпохи, представшие «вместилищем страстей» [2, с. 231], служили этой задаче как нельзя лучше. Согласно Н. А. Бердяеву, история в её личностном восприятии «требует веры»; «это не простое насилие над познающим субъектом внешних объективных фактов», но «акт преобразования великого исторического прошлого», т. е. (по определению философа) современный миф, «в котором совершается внутреннее постижение исторического объекта, внутренний процесс, *роднящий субъект с объектом*» [5, с. 18]. Именно так вспоминал Зорин своё приобщение к трагедии декабристов: «Вот передо мной эти бездны и опрокинутые вершины, и мне предстоит повторить это странствие – и взмыть, и пасть, и восстать из праха...» [2, с. 231]. Память о декабризме как «сердце русской истории, лучшая её легенда» [6, с. 87], даже в сталинский период не контролируемая всецело, снова подтвердила свою продуктивность: «перевод сообщений» с языка прошлого на язык современности, «механизм активного и постоянного нового моделирования» образа прошлого позволял извлечь из памяти культуры «больше, чем в неё внесено» [7, с. 567].

Наряду с оригинальными версиями мифа, более многообразными, чем когда-либо прежде, в 1960-е гг. стали возможны и подходы «испытующие». Писатель, удивлявший современников смелостью трактовки декабристской темы, мог всё же оставаться «в пределах» [2, с. 245] (такова поздняя самооценка Зорина) – либо переступить некий рубеж, принципиально менявший авторскую «оптику» [8, с. 221]. Разграничить эти явления позволяет сопоставительный анализ двух образов Пестеля.

Когда в 1972 г. Окуджава комментировал свой первый исторический роман для румынского журнала «Secul 20», Пестель не был упомянут, но он угадывается за коллективным портретом любимцев советской исторической литературы: «Этих профессиональных революционеров оценили и описали так всесторонне, в стольких невероятных ракурсах, что продолжать исследовать их деятельность значило для меня переливать из пустого в порожнее» [9, с. 344]. Зорин, со своей стороны, констатировал: «Не было смысла пускаться в плавание, чтобы утверждать утверждённое» [2, с. 231]. Окуджава открыл для себя дилетантов от политики, беспомощных



«при решении вечного спора: кто прав и кто виноват»; «О да, они были несведущи и неопытны, и не всегда прекрасны, и не во всём правы, но, страдая, пробираясь в потёмках, они, сами того не подозревая, привили своим современникам способность самостоятельно мыслить» [9, с. 345]. Сходным образом расставлены акценты в зоринской типологии декабристов: моральную рефлексию олицетворяет Никита Муравьёв, укоряемый Пестелем за неуместный в политике идеализм. Само осознание «роковой проблемы нравственности и революции» [2, с. 231] делало Зорина и Окуджаву единомышленниками. Далее начинаются расхождения.

Приступая к работе над «Декабристами», Зорин «сразу определил центральный нервный узел конфликта. При этой *стремительности* <...> первенство было за *интуицией*, а не за фундаментальным исследованием» [2, с. 231]. 14 сентября 1966 г. драматург набросал экспозицию, а уже 31 октября «перебелённая рукопись была прочитана первым слушателем» [2, с. 231, 244]. Круг подготовительного чтения Зорина и Окуджавы во многом (как будет показано далее) совпадал, но разным оказался сам характер освоения источников. Романное воплощение темы декабризма предполагало совсем иные, нежели в ситуации Зорина, темпы и сроки. Работа над «Бедным Авросимовым» продолжалась около четырёх лет (1965–1968), и за это время первоначальный замысел был изжит. Об отправной точке пути позволяет судить ближайший предшествующий опыт писателя; стадийно он относится к литературному «промежутку», когда ещё оставались в силе законы соцреалистической декабристики, но уже началось «оттепельное» обновление декабристского мифа.

Как автор многогеройной пьесы «Глоток свободы» (опубликована в 1966-м), Окуджава вдохновлялся, прежде всего, личностью Михаила Бестужева. По наблюдениям С. С. Бойко, драматург следовал за М. К. Азадовским, подготовившим издание воспоминаний братьев Бестужевых в «Литературных памятниках»: «Можно смело сказать, что именно он <Михаил> поднял восстание. <...> Он первый положил начало осуществлению намеченного плана, поставив тем самым остальных участников заговора перед совершившимся фактом»; «он безусловно превосходил своих старших братьев революционным темпераментом и безудержным энтузиазмом, что с такой силой и яркостью сказалось в его поведении в утро восстания» [10, с. 612, 615]; «Поступки и весь духовный облик Михаила Бестужева, ярко проявившиеся в записках, *требуют* от произведения о нём *героического пафоса*» [8, с. 105].

Михаил Бестужев лучше многих его товарищей отвечал советскому канону декабриста, но вершиной героической иерархии всё же оставался Пестель: «Никто из подсудимых не был спрашиван в Комиссии более его; никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же; везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твёрдости его. Казалось, он один готов был на рамена своих выдержать тяжесть двух Альпийских гор» [11, с. 38]. Этот портрет воспроизводили все советские историографы и беллетристы (с неизменным комментарием, что даже «враг» – протоиерей П. Н. Мысловский – воздал должное Герою [12, с. 492–493; 13, с. 314]. В современном контексте подобные биографические легенды контрастировали с участием сталинских жертв. Только безвестность могил казнённых создавала историческую «рифму». Смерть комиссаров в пыльных шлемах «от руки государства, которому они служили, <...> вступала в противоречие с идеологемой “коммунист отдаёт жизнь за дело революции” – была *бесславной*, не несла в себе никакого героического начала» [14, с. 86]. Недостигаемо высокоую судьбу олицетворяли декабристы, поднимавшиеся на эшафот, хранившие *гордое терпенье* в сибирском изгнании. Переходя от образа Бестужева к фигуре Пестеля, от драмы к роману, Окуджава, вероятно, предполагал углубиться в загадку героической личности, устоявшей в поражении. Всё начиналось с безусловной веры в избранного героя, с нерелексивного доверия к декабристскому мифу в целом, но чтение мемуаров, следственных документов и конституционного проекта Пестеля многое изменило: «Меня испугал фанатизм этого человека и оттолкнул от него. Меня не вдохновлял такой героизм. Это был “не мой” герой» (цит. по: [15, с. 14]).

Никто из современников писателя не воспринимал возвеличенного исторического деятеля столь критически, поскольку даже на фоне гуманизма «оттепельного» поколения Окуджава выделялся своими ценностными установками: встреча с личностью Пестеля проявила их со всей наглядностью. Давид Самойлов однажды назвал Окуджаву-лирика сентименталистом, и тот, не противореча сложившейся репутации, особо отмечал «благотворное влияние» сентиментализма [16, с. 96] на свою работу исторического романиста (см. о рецепции сентиментализма в позднем творчестве Окуджавы: [17, 18]). Применительно к роману «Бедный Авросимов» это означало изменение привычного ракурса изображения Героя, «человека подвига». В 1975 г. писатель высказался подробно в домашней беседе с кинорежиссёром Владиславом Виноградовым: «...И вот, когда я изучал эти



документы, я невзлюбил Пестеля. Хотя я сам его выбрал себе, когда мне предлагали там <в издательстве> различных героев. Не то что невзлюбил – не мне судить его через сто пятьдесят лет, – я вдруг увидел в нём проявление такого страшного деспотизма и фанатизма»; «Мне даже стало страшно, когда я подумал о том, что теория Пестеля и его линия могли бы восторжествовать. Не Никиты Муравьёва, а – его!.. <...> А потом бы мы расплачивались за ошибки человека, быть может, прекрасного, желающего добра людям» [19, с. 78, 80]. На эту почву и легли впечатления о зоринском Пестеле.

«Декабристы» Зорина как фактор творческой истории романа Окуджавы

В августе 1967 г. театр «Современник» открыл сезон постановкой «Декабристов» (в роли Пестеля – Игорь Кваша); журнал «Театр» завершил календарный год публикацией текста пьесы. Зимой 1969 г. Окуджава предложил роман в «Дружбу народов», и уже через три дня был извещён, что начальные главы идут в ближайший номер [16, с. 22] – апрельский (сдан в набор 14 февраля). Таким образом, от момента знакомства Окуджавы с «Декабристами» Зорина до завершения «Бедного Авросимова» прошло не менее года интенсивной работы. Концепция двухгеройного произведения возникла рано, на стадии чтения следственных протоколов (о рождении образа писателя Окуджава рассказывал охотно [16, с. 114]), но изображение Пестеля неизбежно становилось трудной задачей. С одной стороны, реальному Пестелю категорически отказано в идейной солидарности; с другой стороны, пушкинская заповедь *милость к падшим* непреложна для Окуджавы. Разрешение коллизии должно было произойти по законам его собственного художественного мира. Опыт писателя-ровесника, уже нашедшего современный ракурс видения сложной исторической фигуры, был интересен вне зависимости от степени согласия с зоринской трактовкой.

В «Бедном Авросимове» есть как минимум одна прямая отсылка к пьесе – цитата, открывающая драматургически построенный эпизод с ведущей ролью Пестеля. Зорин дал герою двух партнёров, Окуджава – трёх; событие встречи в обоих случаях отнесено к последним месяцам перед декабрьской катастрофой. Сравним:

Муравьёв-Апостол. Мы пришли проститься...

Пестель. Я был вам душевно рад, Сергей Иванович. Судьба не балует нас частыми свиданиями. В этом, быть может, её коварный умысел.

Муравьёв-Апостол. Можно взглянуть и с иной стороны – провидение нас оберегает [20, с. 132].

Авросимов <...> подошёл к таинственному незнакомцу <...> и сказал ему, словно век уже целый был с ним близок:

– Судьба не часто балует нас встречами.

– Полноте, – улыбнулся полковник, – с нашими-то заботами в наш век можно ли видаться чаще? [21, с. 172]

Оба эпизода развиваются от изъявления дружеских чувств к обнаружению противостояния, но суть коллизии различна. Драматург освещает борьбу Пестеля за власть над волей заговорщиков. Романист позволяет фантазёру Авросимову остановить историческое мгновение, чтобы сказать Пестелю, его рефлексирующему младшему товарищу и защитнику status quo: «Нет, нет, <...> я не вижу ни у одного из вас резона, не вижу» [21, с. 174]. Этот пример позволяет наметить перспективу дальнейших сопоставлений.

Персонифицируя противоречия декабристского движения в контрастных парах (Пестель – Никита Муравьёв, Пестель – Муравьёв-Апостол, Пестель – Трубецкой), Зорин оттенил эту сложность картиной сплочённости противоположного лагеря. Дмитрий Блудов, сокрушённо признающий собственный «печальный опыт модных увлечений», усердствующий в своей новой роли, восхищается решением императора привлечь Сперанского к расправе с мятежниками: «Вот где гений, господа! Вот нам всем поучение! Какая широта, какое сверкание мысли! Сперанский, Сперанский, и никто другой! (Почти ликуя.) Весь век охранял вывеску независимого мужа, учителя царей и вот – извольте-с!» [20, с. 144]. Дискредитация Сперанского и Блудова подготовлена спором Пестеля и Муравьёва за год до восстания; первый высмеивает риторику карьеристов с либеральным прошлым, второй сетует: «Право, мы стали безмерно нетерпимы. Всякий волен иметь своё суждение» [20, с. 129]. Ход событий доказывает правоту Пестеля: страх и карьерная выгода уравнивают между собой всех, кто судит побеждённых; даже стиль поведения (как заметил Вл. Новиков) нивелируется [22, с. 125–126]. Жанр *трагедии* – таков авторский подзаголовок «Декабристов» – всецело отвечает представлению о поляризации исторических сил.

Окуджава также уделяет внимание примитивности мотивов, сплывающих дознавателей-судей против их жертв, но в большей степени его интересуют явления другого рода. Александровская эпоха, разом отодвинутая в прошлое событиями 14 декабря, видится сложной, «полюфоничной», когда действительно всякий был



волен иметь своё суждение: будущие декабристы и «их антагонисты, оказывается, проживали <в истории> на одном этаже» [9, с. 345]. И после того как все персонажи романа сделали свой главный выбор, они объективно нуждаются друг в друге, а потому заново сходятся в символическом пространстве снов и фантазий Авросимова (подробнее об этом см.: [23, с. 441–442]).

Показатель разных творческих установок Зорина и Окуджавы – отбор фактов биографии Пестеля. Его младший брат Владимир, ставший участником «Союза спасения» из любви к Павлу, но в итоге оказавшийся по другую сторону исторического разлома, драматургом даже не упомянут: в художественном мире пьесы близкая к Пестелю «неопределённая» фигура была заведомо лишней. Возможно, это подсказало Окуджаве своеобразный минус-приём: имя Владимира Ивановича Пестеля буквально преследует писаря, который протоколирует допросы Павла Ивановича, но встречи с «призрачным» [21, с. 135] братом мятежника не будет. Положение Авросимова между двумя Пестелями – символ душевной смуты и запутанных исторических дорог.

Системный характер подобных контрастных параллелей даёт основание полагать, что впечатление Окуджавы от зоринских «Декабристов» послужило созреванию собственной концепции.

Статус Пестеля в трагической ситуации: две версии

Осмысливая трагедию декабризма, Зорин и Окуджава сосредоточились на противоречии между вдохновляющим идеалом и реальностью политической борьбы. Именно Пестель, стремившийся к объединению движения, стал, в понимании обоих писателей, невольной причиной разлада между товарищами по заговору. Объясняя роль Пестеля, оба апеллировали к свидетельству протоиерея Мысловского: «...везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твёрдости его» [11, с. 38]. Зорин разворачивает эти формулы в эпизоды, где качества исключительной личности явлены наглядно. Окуджава превращает оценку потрясённого наблюдателя в косвенную речь персонажа: «Пестель понимал, что не всем дано оставаться самим собою под ударами судьбы, а лишь немногим, в ком сила духа и прочность воззрений слиты с давнего времени и как бы вошли в кровь» [21, с. 71]. Пестель беспокоится о стойкости соратников, ещё не испытав на деле своего мужества.

В пьесе Зорина подлежат бескомпромиссному осуждению идеи Пестеля о пользе ре-

волюционной диктатуры. Моральная чуткость Никиты Муравьёва – залог его правоты в споре с «русским Бонапартом». Позднее драматург писал: «Я ощущал, что эти двое выразили с предельной чёткостью ту несовместимость цели и средств, которая и взорвала движение ещё до 14 декабря» [2, с. 232]. В то же время сама личность Пестеля оправдана – перед высшим судом – его неизменной дружеской привязанностью к идеалисту: «Передайте Никите Муравьёву, что я всё люблю его, люблю и в последний свой день. Кто из нас прав, скажет время» [20, с. 152]. Благодаря Пестелю его друг-антипод постигает масштаб трагедии: «Но неужто века пройдут, покамест человек обретёт естественное право мыслить и мысли свои исповедовать? Неужто всегда за естественное это право должен он прибегать к насилию? Стало, Пестель прав? Но ежели насилие родит насилие, то и новое насилие родит таковое же по образу и подобию своему... И будет ли этой цепи конец?» [20, с. 151].

Беспощадная постановка главного вопроса исключает возможность финального катарсиса. Ход следствия воссоздан Зориным с убеждением, что «бессмысленность жертвоприношения была трагически равнозначна бессмысленности суда и кары» [2, с. 234]. Тем не менее автор «преодолевает» даже самые тяжёлые репутационные потери, понесённые декабризмом в месяцы дознания. Прозреть в трагедии падших высокие смыслы дано всё тому же Пестелю, ибо только он предстаёт свободным от плена конкретных обстоятельств:

Голенищев-Кутузов. Да-с, господин полковник, сообщников надо избирать поумнее. И с этими-то господами хотели вы идти в дело?

Пестель. Зря веселитесь, генерал. Не нужно ни ума, ни совести, чтобы смеяться над тем, что люди *лжесвидетельствовать не умеют, что искренность их вторая натура, их потребность душевная*. Вы казните их день за днём самой изощрённой нравственной пыткой, вы их сводите с ума адом допросов и очных ставок и смеётесь, когда они не знают, что говорить и как держаться, чтобы *остаться и верными и правдивыми* [20, с. 148].

Чем ближе к финалу трагедии, тем очевиднее личное величие Пестеля: загнанные жертвы сдают рубеж за рубежом, тогда как одинокий Герой неизменно *равен себе самому* в двойном противостоянии – слабым товарищам и следствию.

Совершенно иначе освещено одиночество Пестеля в «Бедном Авросимове». «Несчастливого, оставленного в одиночестве полковника» [21, с. 231] сопровождает сквозной мотив *все на одного* и образ сверхчеловеческой тяжести, который



восходит к метафоре «тяжесть двух Альпийских гор» из мемуарного этюда Мысловского: «...как много их всех на одного! Как много нас-то на него одного!» [21, с. 126]; «Большая и тяжёлая, словно гора, наваливалась машина <следствия> на злодея и перемалывала ему кости» [21, с. 223].

В пьесе Зорина Пестель владеет собой в самом безнадежном положении, каждая его реплика обескураживает следователей; тем же, кто приведён на очную ставку с Героем, остаётся лишь переживать усугублённое чувство вины:

Чернышев. Полковник Пестель! Подполковник Поджио показал, что вы при встрече с ним, вам известной, ещё с убедительностью доказывали необходимость истребить всю императорскую фамилию. Сжав руки, вы произнесли: давайте считать жертвы, и, покамест Поджио называл священных особ по именам, вы считали их пальцами, и число жертв составило тринадцать.

Пестель (взглянув на Поджио). Следственно, пальцев не хватило?

Чернышев (повысив голос). Подполковник Поджио далее показывает, что вы ему сказали: «Я поручил уже князю Бяратинскому приготовить мне двенадцать человек решительных лиц для сего». (Внимательно глядя на Пестеля.) Вам понятно показание?

Пестель. Вполне, ваше превосходительство, жертв – тринадцать, убийц – двенадцать. <...>

Левашов. Подполковник Поджио, вы подтверждаете свои показания?

Поджио. Бог мой! Подтверждаю...

Левашов. Полковник Пестель, подтверждаете и вы?

Пестель. Нимало. Поджио наш разговор представил в превратном виде. Множество лиц императорской фамилии находится за границей, имеют детей и большие семейства. Мы, точно, всех при этом назвали по имени, но... без всяких театральных движений, как Поджио изобразил. Смею уверить, что я и сам не злодей из трагедии, каким меня тщатся представить. <...>

Поджио. <...> Нынче самый горький мой день. Радуйтесь, ваше превосходительство [20, с. 147–148].

Напротив, в романе Окуджавы Пестель лишь обречённо выслушивает сумбурный монолог «вчерашнего единоверца», черноглазого офицера, в котором узнаётся Александр Поджио:

«Теперь всё равно», – вяло подумал Пестель <...>.

– Теперь всё равно, – торопливо выпалил офицер, когда ему задали тот же вопрос, касаемо цареубийства. <...> Вы же говорили мне, Павел Иванович, что прежде чем начать возмутительные действия, следует истребить... Вы же говорили?

<...> Вы же готовили других для свершения удара? <...> Вы, Павел Иванович, увлекли меня, и в этом вы человек великий, как вы обольщать умеете... И как мы с вами на пальцах считали, уж это вы помните, чтобы счёт жертвам был точный. Мы вот так по пальцам считали, – обратился он к графу, протягивая ему свою развёрнутую пятерню, – и всех перечисляли, начиная с государя... И вы, Павел Иванович, желая показать, что я бесчеловечен, сказали мне, мол, знаю ли я, как это всё ужасно? Помните?... <...>

«Он будет кричать без конца, – зажмурился Пестель. – Что они его не остановят?» [21, с. 73, 74]

Оба художника строят эпизод очной ставки на совмещении двух (одних и тех же) документальных источников [24, с. 182–184; 25, с. 76], по-разному воспринятых. У Зорина сцена увенчивается цитированным уже диалогом Пестеля с Голенищевым-Кутузовым: издевательство палача над слабостью заговорщиков решительно пресекается Героем, которому понятна трагедия жертв следствия, не сумевших «остаться и верными и правдивыми» [20, с. 148]. В романе Окуджавы Пестель надломлен и фактом отступничества единомышленника, и сомнением в исторических перспективах своего дела:

«...Однако России ещё далеко до грядущих блаженств... с этим... вот с такими... – и сокрушённо: – Каковы её дети!.. Это нервический припадок...»

– Ваше сиятельство, – сказал Пестель, – распорядитесь препроводить меня обратно в каземат. Нынче я отвечать не способен [21, с. 75].

Будучи ценителем выразительного исторического документа, Зорин поверяет разнообразные свидетельства о Пестеле его героической репутацией; тем самым подтверждается непререкаемость мифа. Среди впечатлений драматурга особое значение имел, по всей видимости, мемуарный этюд Мысловского. Напротив, Окуджава следует за показаниями и письмами узника, где «уверенность в собственной правоте чередуется с минутами острого душевного раскаяния» [26, с. 11]. Важнейший для романиста источник – самоотчёт Пестеля: «Я начинал сильно опасаться междуусобий и сильных раздоров, и сей предмет меня сильно к цели нашей охладевал. В разговорах иногда однако же воспламенялся я ещё, но ненадолго, и всё уже не то было, что прежде» [24, с. 92]. Искренность этого признания удостоверена воспоминаниями ближайших сподвижников главы Южного общества о его метаниях на протяжении 1825 г.: «Совершенно очевидно, что автору “Бедного Авросимова” известны <...> “Записки декабриста Н. И. Лорера” (М., 1931),



содержащие не только фактический материал по истории движения, но и нравственно-психологические характеристики Пестеля» [27, с. 169]. Революционный вождь предстаёт человеком, который способен усомниться в самом главном для себя, причём не постфактум, а на пути к цели. Рассказ Пестеля о кризисе, пережитом до ареста, свидетельствует о новом кризисе, переживаемом в момент признания. Факты, опровергающие миф «от первого лица», положены в основу концепции Окуджавы – и словно бы не замечены Зориным.

Зоринский Пестель даже накануне казни, в беседе со священником (драматург контаминирует фигуры лютеранского пастора Рейнбота и Мысловского) предстаёт всё тем же борцом, устремлённым в будущее, исполненным неукротимой жизненной силы, равной силе его убеждений: «...я не из тех, кто страшится взять верх. Пусть все пророки мира твердят мне, что в победе таится поражение, – мне нужна победа!» [20, с. 152]. Эта сцена подвергается полемической инверсии в романе Окуджавы: «Павел Иванович ответил <на очередной вопрос> всё тем же тихим и бесстрастным голосом, будто всё уже кончилось и его самого уже не существовало и не существовало борьбы за жизнь, а *просто это душа его*, не ведающая ни лжи, ни правды, ни гордости, ни страха, *однообразно и монотонно исповедовалась где-то...*» [21, с. 220].

У Зорина речь идёт о трагедии титана, штурмовавшего небо и остановленного в своём порыве внешней силой. Автор предисловия к мемуарному роману «Авансцена» обобщает: «Как все интеллигенты ХХ столетия, Леонид Зорин преклоняется перед героическим жестом: он вырос в эпоху, когда, выбирая свободу, нужно было приготовиться к смерти» [28, с. 3]. В этом отношении Окуджава как раз не принадлежит к большинству; он развивает тему героики в совершенно необычном направлении.

Соблазн силы и мнимость силы: антропологический аспект исторической рефлексии Окуджавы

Фигура Пестеля символизирована Окуджавой в качестве главного ответчика за надежды, страхи и разочарования современников. Восприятие простодушного Авросимова служит той призмой, которая позволяет автору предельно заострить вопрос о значении мятежного полковника для обеих сторон исторического конфликта: «...в треугольном равелине метался злодей, несчастный человек, пророк, разбойник, переворотивший всю душу, достойный самой лютой казни и самого возвышенного благо-

говения, убийца и сеятель добра, один, один из племени людского, вышедший за круг, *покинутый всеми и всем необходимый*: и государю, и графу, и ему, Авросимову, проклиняющему его и плачущему над ним» [21, с. 252].

Если властям Пестель необходим для показательной расправы («Его хотят убить... В острастку нам...» [21, с. 233]), то *проклиняющий и плачущий* Авросимов представляет за всех «соблазненных» полковником. Решимость Пестеля *выйти за круг*, нарушить историческую инерцию представлена как сугубо рациональная в своей основе, но магически действующая на окружающих. Доказывая вред монархии и необходимость цареубийства («Это математически непреложно» [21, с. 102]), Пестель увлекал соратников отнюдь не логикой. Николай Заикин признаёт, что «это грех был *не верить ему*» [21, с. 203]. Устами Евгения Оболенского объяснена природа «соблазна»:

– Я вижу, как вы *обольщаетесь*, но мне, чёрт возьми, *хочется вам верить*. Приятно *чувствовать себя сильным*, вы не находите?.. Хотя я не говорю вам «да», учтите, не говорю, дайте срок, *мне по сердцу ваша неукротимость*, но я не знаю, то есть о себе я не знаю; это, наверное, справедливо, но я не знаю...

– А вы не боитесь, что именно нерешительность сыграет с вами однажды злую шутку? – спросил Пестель холодно.

– Не знаю, – сказал Оболенский <...> [21, с. 161].

Следственные показания Пестеля становятся источником романских образов и мотивов, которые очерчивают непреодолимое для *дилетантов* нравственное препятствие:

«...Все говорили, что Революция не может начаться при жизни Государя... и что надобно или смерти его дожидаться или решиться оную ускорить... Но справедливость требует также и то сказать, что <...> каждый в своё время говорил, что хотя сие Действие может стать и *будет необходимо*, но что он не примет исполнение оно-го на себя, а каждый думал, что найдётся *другой* для сего» (ср. с текстом источника: [24, с. 103]).

– Отчего же так? – словно спросил *кто-то с насмешкою*. Но кто спросил, было не понять. <...> *небеса были далеке*, за толщей сводчатых потолков [21, с. 160].

Насмешка неба над землёй знаменует обречённость любой попытки действовать на историческом поприще, сохраняя человечность. Поэтому Пестель для заговорщиков необходим как тот *другой*, тот *сильный*, кто не страшится моральной ответственности за кровь: « – Не беспокойтесь, господин подпоручик, – мрачно усмехнулся полковник, – думайте об избавлении родины от



рабства. Царя я беру на себя...» [21, с. 174]. Такое распределение ролей в заговоре, когда страшная ответственность уступается другому, напрямую связано с отступничеством в ходе дознания: «...Нынче же разве это есть отречение? От чего ж мне <...> отречься, коли сие и не моё вовсе, а чужое?» [21, с. 203].

Учитывая традицию изображения следствия по делу декабристов от Мережковского (см. об этом: [29, 30]) до Зорина, Окуджава ставит проблему слабости заговорщиков по-новому. Сущность происходящего осмыслена как ответ человеческой природы, вечной в своих свойствах, на испытание Историей. Закономерность ответа наиболее убедительно подтверждается именно тем романским персонажем, которому декабристский миф приписал сверхчеловеческую твёрдость: даже для самого сильного невыносимо бремя исторической ответственности. Окуджава объясняет трагедию декабризма иначе, чем Зорин, но масштаб её не умаляется: проблематика нравственно-политическая перерастает в экзистенциальную.

«Человеческое, слишком человеческое» против мифа

Отрефлексированный Окуджавой миф становится в романе предметом изображения. Экскурсам в прошлое, рисующим Пестеля-вождя, вторят картины, нафантазированные «обольщённым» Авросимовым: « – Мы ждём гостя, – продолжал наш герой <...>. – Наконец он входит к нам. Мы все встаём, потому что невозможно сидеть, когда он входит. Сам он невысок, кряжист, армейский полковничий мундир ладно сидит на нем. Глаза холодны и глубоки. Движения размеренны. Он садится в кресло и сидит, ровно Бонапарт, ногу чуть вытянул...» [21, с. 172]. Авросимов готов превратиться из писателя в летописца героической судьбы, но императив поклонения Герою оборачивается против узника:

– Справедливым будет добавить, – вдруг громко сказал Павел Иванович, – что в течение всего двадцать пятого года стал сей <революционный> образ мыслей во мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно было совершить благополучно обратный путь...

«Ложь!» – вскричал про себя Авросимов, негодуя.

Неожиданное признание Павла Ивановича престранно подействовало на нашего героя, будто слабость полковника его оскорбила, будто самому Авросимову не этого хотелось [21, с. 220–221].

Романный Пестель произносит слова, которые его прототип написал собственной рукой (ср. с текстом источника: [24, с. 92]). Негодование простодушного свидетеля слабости моделирует, по замыслу автора, столкновение декабристского мифа с исторической реальностью. Все подобные эпизоды предназначены тревожить читателей романа, которым, подобно Авросимову, не этого хотелось.

Наконец, мотив отречения, сопряжённый на протяжении всего повествования со «слабыми друзьями» полковника [21, с. 203], вплетается перед финалом в его собственную характеристику. Упомянув письмо Пестеля к генералу Левашову (см. источник: [24, с. 125–126]), автор сначала интерпретирует тактику узника – «маленькую хитрость поверженного, но не потерявшего надежд человека» [21, с. 244], чтобы затем осветить его внутреннее состояние:

– Ежели вы получите свободу, будете ли упорствовать в своих замыслах? Будете ли стремиться восстановить разрушенное? – спросил он самого себя. И ответил себе же тюремным шёпотом:

– Нет, никогда.

– Но почему? Почему? Почему же, о господи?!

– Не знаю... Сие свыше сил...

– Значит, отрекаешься?

– Да нет же, боже мой, нет! Не отрекаюсь! [21, с. 244].

Между тем об отречении свидетельствует сама интонация отчаяния. Все реальные обстоятельства, не позволяющие Пестелю упорствовать в своих замыслах, словно бы упразднены; о них так и сказано: Почему?.. Не знаю... Процитированный внутренний диалог персонажа восходит к реальному письменному монологу, где звучит мольба «облегчить <...> безмерную тяжесть» неведения о будущем [24, с. 126]. И вновь собственное слово Пестеля даёт право усомниться в его персональном мифе: готовности Героя вынести тяжесть двух Альпийских гор противопоставлено выстраданное чувство, что сие свыше сил. Полемическое преломление мифа – портрет узника, сохраняющего видимое самообладание: «Он поднял голову. Серое лицо его было спокойно. Буря бушевала в сердце, под рёбрами, да на листе бумаги, сложенном вдвое» [21, с. 244]. Сложенный вдвое лист (текстом внутрь, как всегда складывают важные письма) становится ещё одной метафорой потаённого смятения. Таким образом, автор романа последовательно соотносит катастрофу человека «железных правил» [21, с. 231] с падениями заговорщиков-дилетантов – людей «прекрасных, да ненадёжных» [21, с. 244]. Это



сближение противоположностей можно рассматривать в контексте диалога с Зориним.

Генерализация важнейшей идеи драматурга происходит на глазах зрителя; к неукротимому борцу, даже накануне казни мечтающему о победе, обращается протоиерей Мысловский: «Я знаю, силы у вас хватит. Друг мой, вам не хватает слабости» [20, с. 152] (в поздней редакции пьесы, где роль Мысловского купирована, реплика передана Никите Муравьеву). Под *слабостью* Зорин понимает человечность. Олицетворённая в Никите Муравьеве, человечность до конца сопутствует Пестелю, который перед смертью думает о друге. То же самое контекстуальное значение получает *слабость* в сюжетной линии оруджавского Пестеля, но очеловечивание Героя совершается иначе – в соответствии с историей душевных мытарств его прототипа. Если зоринский Пестель сходит со сцены в ореоле трагической поэзии, то Оруджава жертвует красотой мифа ради воссоздания «человеческого, слишком человеческого» опыта декабристов.

Заключение

Встреча с личностью Пестеля стала для Зорина и Оруджавы настоящим творческим вызовом. В обоих случаях авторская стратегия определялась поиском возможностей «примириться» с персонажем, не отказываясь от нравственных претензий к реальному Пестелю. Оба пути дали замечательные творческие результаты – с разными последствиями для развития позднесоветской «декабристианы». Художественная смелость Зорина послужила обновлению декабристского мифа, укрепила его связь с современностью. Напротив, Оруджава над мифом поднялась, чтобы затем предпринять всесторонний анализ декабризма в романах «Путешествие дилетантов» и «Свидание с Бонапартом».

Список литературы

1. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М. : Новое литературное обозрение, 1996. 368 с.
2. Зорин Л. Авансцена. Мемуарный роман. М. : Слово/ Slovo, 1997. 526 с.
3. Левкович Я. Восстание декабристов в советской художественной прозе // Русская литература. 1975. № 4. С. 167–179.
4. Тамарченко А. Ольга Форш. Жизнь, личность, творчество. М. ; Л. : Советский писатель, 1966. 352 с.
5. Бердяев Н. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 176 с.
6. Улицкая Л. Зелёный шатёр: роман. М. : Эксмо, 2011. 592 с.
7. Лотман Ю. Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума // Лотман Ю. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПб, 2000. С. 557–567.
8. Бойко С. Творчество Булата Оруджавы и русская литература второй половины XX века. М. : Российский гос. гуманитарный ун-т, 2013. 608 с.
9. [Оруджава Б.]. Русские писатели в журнале «Secul 20». Булат Оруджава [о романе «Бедный Авросимов»] // Вопросы литературы. 2007. № 1. С. 344–346.
10. Азадовский М. Мемуары Бестужевых как исторический и литературный памятник // Воспоминания Бестужевых. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. С. 581–678.
11. Из записной книжки протоиерея П. Н. Мысловского // Щукинский сборник. Вып. 4. М. : Тов-во типографии А. И. Мамонтова, 1905. С. 29–39.
12. Форш О. Первенцы свободы // Форш О. Сочинения : в 4 т. Т. 3. М. : ГИХЛ, 1956. С. 211–533.
13. Карташёв Б., Муравьев В. Пестель. М. : Молодая гвардия, 1958. 333 с.
14. Чудакова М. Возвращение лирики : Булат Оруджава // Чудакова М. Новые работы: 2003–2006. М. : Время, 2007. С. 62–107.
15. Белая Г. Булат Оруджава, время и мы : вступит. ст. // Оруджава Б. Избр. Произведения : в 2 т. Т. 1. М. : Современник, 1989. С. 3–24.
16. Оруджава Б. «Я никому ничего не навязывал...» [Ответы на записки во время публич. выступл. 1961–1995 гг.] / сост. А. Петраков. М. : Кн. маг. «Москва», 1997. 288 с.
17. Биткинова В. Карамзинский код в романе Б. Оруджавы «Свидание с Бонапартом». Статья 1 : «Арина из девиц» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия : Филология. Журналистика. 2016. Т. 16, вып. 2. С. 164–173. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2016-16-2-164-173>
18. Биткинова В. Карамзинский код в романе Б. Оруджавы «Свидание с Бонапартом». Статья 2 : Лиза Свечина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия : Филология. Журналистика. 2016. Т. 16, вып. 3. С. 307–316. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2016-16-3-307-316>
19. Виноградов Вл. Монолог Мастера о декабристах : [Расшифровка фонограммы] // Голос надежды : Новое о Булате. Вып. 6 / сост. А. Крылов. М. : Булат, 2009. С. 76–83.
20. Зорин Л. Декабристы : Трагедия // Театр. 1967. № 12. С. 124–153.
21. Оруджава Б. Бедный Авросимов // Оруджава Б. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1. М. : Современник, 1989. С. 25–264.
22. Новиков Вл. Режиссура сюжета и стиля (Театр Леонида Зорина) // Новиков Вл. Диалог. М. : Современник, 1986. С. 118–143.
23. Александрова М. Творчество Булата Оруджавы и миф о «золотом веке». М. : Флинта, 2021. 592 с.
24. Восстание декабристов : материалы. Т. 4. М. ; Л. : Госиздат, 1927. 486 с.



25. Восстание декабристов : документы. Т. 11. М. : Госполитиздат, 1954. 435 с.
26. Парсамов В. К характеристике личности П. И. Пестеля // Освободительное движение в России : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 19. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2001. С. 3–11.
27. Дронова Т. История глазами художника : (Источник и его осмысление в романе Б. Окуджавы «Бедный Авросимов») // Очерки по истории культуры : науч. сб. Саратов : ИЦ Саратовского экон. ин-та, 1994. С. 152–170.
28. Швыдкой М. «Вундерменш» (Wundermensch) // Зорин Л. Авансцена. Мемуарный роман. М. : Слово/Slovo, 1997. С. 3–4.
29. Дронова Т. О символистской традиции в исторической прозе Б. Окуджавы : Диалог с Д. Мережковским в романе «Бедный Авросимов» // Античный мир и мы. Вып. 6 : Материалы и тез. конф. 22–23 апреля 1999 г. Саратов : Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2000. С. 71–78.
30. Солнцева Н. О «Бедном Авросимове» Б. Окуджавы и «14 декабря» Д. Мережковского // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии. М. : ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2002. С. 215–224.

Поступила в редакцию 29.01.2022; одобрена после рецензирования 10.02.2022; принята к публикации 15.02.2022
The article was submitted 29.01.2022; approved after reviewing 10.02.2022; accepted for publication 15.02.2022